



Ф. И. ШАЛЯПИН

СТРАНИЦЫ
ИЗ
МОЕЙ
ЖИЗНИ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ издательстве изобразительного искусства и музыкальной литературы (Киев, 1956 г.) вышла книга Ф. Шалыпина «Страницы из моей жизни». При чтении ее перед читателями встает яркий, исключительно своеобразный и богатый образ замечательного русского певца Федора Ивановича Шалыпина, вся его тяжелая жизнь, через которую он про-

шел, чтобы, по словам Горького, «петь всем людям о России, показать всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и крупна, обаятельна...»

Книга «Страницы из моей жизни» вместе с помещенной в конце ее статей Стасова о Шалыпине помогает нам еще глубже понять личность этого замечательного человека, делает его более близким нам.

Ниже мы публикуем отрывок из книги Ф. И. Шалыпина.

МНЕ было лет двенадцать, когда я в первый раз попал в театр. Случилось это так: в духовном хоре, где я пел, был симпатичный юноша Панкратьев. Ему было уже лет семнадцать, но он пел все еще дискантом. Сейчас он протодьякон в Казанском монастыре.

Так вот, как-то раз за обедней Панкратьев спросил меня, не хочу ли я пойти в театр. У него есть лишний билет в 20 коп. Я знал, что театр — большое каменное здание с полукруглыми окнами. Сквозь пыльные стекла этих окон на улицу выглядывает какой-то мусор. Едва ли в этом доме могут делать что-нибудь такое, что было бы интересно мне.

— А что там будет? — спросил я.
— «Русская свадьба», дневной спектакль. Свадьба? Я так часто певал на свадьбах, что эта церемония не могла уже возбуждать мое любопытство. Если бы французская свадьба, это интереснее. Но все-таки я купил билет у Панкратьева, хотя и не очень охотно.

И вот я на галерке театра. Был праздник. Народу много. Мне пришлось стоять, придерживаясь руками за потолок.

Я с изумлением смотрел в огромный колодезь, окруженный по стенам полукруглыми местами, на темное дно его, уставленное рядами стульев, среди которых растекались люди. Горел газ, и запах его остался для меня на всю жизнь приятнейшим запахом. На занавесе была написана картина: «Дуб зеленый, золотая цепь на дубе том» и «Кот ученый все ходит по цепи кругом». — Медведевский занавес. Играл оркестр. Вдруг занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел, очарованный. Предо мной ожила какая-то смутнознакомая мне сказка. По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые люди, разговаривая друг с другом как-то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до глубины души был потрясен зрелищем и, не мигая, ни о чем не думая, смотрел на эти чудеса.

Занавес опускался, а я все стоял, очарованный сном на яву, сном, которого я никогда не видал, но всегда ждал его, жду и по сей день. Люди кричали, толкали меня, уходили и снова возвращались, а я все стоял. И когда спектакль кончился, стали гасить огонь, мне стало грустно. Не верилось, что эта жизнь прекратилась. У меня затекли руки и ноги. Помню, что я шатался, когда вышел на улицу.

Я понял, что театр — это несравненно интереснее балагана Яшки Мамонова. Было странно видеть, что на улице день и бронзовый Державин освещен заходящим солнцем. Я снова воротился в театр и купил билет на вечернее представление.

Вечером давали «Медю». Ее играла Пальчикова, Язона — Стрельский. У меня было удобное место. Я мог сидеть, облокотясь о барьер. Снова, не отрывая глаз, я смотрел на сцену, где светила взятая с неба луна, страдала Медея, убегая с детьми, метался красавец Язон. Я смотрел на все это, буквально разинув рот.

— Надо закрывать рот, — сказал я себе. Но когда занавес снова поднялся, губы против моей воли опять распустились. Тогда я прикрыл рот рукою.

Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь домой по пустынным улицам, видя, точно сквозь сон, как редкие фонари подмигивают друг другу, я останавливался на тротуарах, вспоминал великолепные речи актеров и декламировал, подражая мимике и жестам каждого.

— Царица я, но — женщина и мать! — возлагал я в ночной тишине, к удивлению сонных сторожей. Случалось, что хмурый прохожий останавливался передо мною и спрашивал:
— В чем дело?

Сконфуженный, я убегал от него, а он, глядя вслед мне, наверное, думал: пьян мальчишка!

Дома я рассказывал матери о том, что видел. Меня мучило желание передать ей хоть малую часть радости, наполнившей мое сердце. Я говорил о Мееде, Язоне, Катерине из «Грозы», об удивительной красоте лю-

дей в театре, передавал их речи, но я чувствовал, что все это не занимает мать, непонятно ей.

— Так, так, — тихонько откликнулась она, думая о своем.

...А театр все более увлекал меня, и все чаще я скрывал деньги, заработанные пением. Я знал, что это нехорошо, но бывать в театре одному мне стало невозможно. Я должен был с кем-нибудь делиться впечатлениями моими.

Я стал брать с собою на спектакли кого-нибудь из товарищей, покупая им билеты, чаще других — Михайлова. Он тоже очень увлекся театром, и в антрактах я с ним горячо рассуждал, оценивая игру артистов, доискиваясь смысла пьесы.

А тут еще приехала опера, и билеты поднялись в цене до 30 коп. Опера изумила меня: как певчий, я, конечно, не тем был изумлен, что люди поют и поют не очень понятно слова, я сам пел на свадьбах: «Яви ми зрак!» и тому подобные, но изумило меня то, что существует жизнь, в которой люди вообще обо всем поют, а не разговаривают, как это установлено на улицах и в домах Казани. Эта жизнь нарарспев не могла не ошеломить меня. Необыкновенные люди, необыкновенно наряженные, спрашивая, пели, отвечая — пели, пели, думая, гневаясь, умирая, пели, сидя, стоя, хором, дуэтами и всячески!

Изумлял меня тот порядок жизни и страшное нравился мне.

«Господи, — думал я, — вот если бы везде так, все бы пели — на улицах, в банях, в мастерских!»

Например, мастер поет:
— Федька, др-ра-атву!

А я ему:
— Извольте, Николай Евтропич!

Или будочник, схватив обывателя за шиворот, басом возглашает:
— Вот я тебя в участок отведу-у!

А ведомый взывает тенорком:
— Помилуйте, помилуйте, служивый-й!

Мечтая о такой прелестной жизни, я, естественно, начал превращать будничную жизнь в оперу: отец говорит мне:
— Федька, квасу!

А я ему в ответ дискантом и на высоких нотах:
— Сейчас несу-у!

— Ты чего орешь? — спрашивает он. Или пою:
— Папаша, вставай чай пи-ити!

Он таращит глаза на меня и говорит матери:
— Видала? Вот до чего они, театры, доводят!

Театр стал для меня необходимостью, и роль зрителя, место на галерке уже не удовлетворяло меня, хотелось проникнуть за кулисы, понять, откуда берут луну, куда проваливаются люди, из чего так быстро строятся города, костюмы, куда после представления исчезает вся эта яркая жизнь?

Я несколько раз пытался проникнуть в это царство чудес — какие-то свирепые люди с боем выгоняли меня вон. Но однажды я все-таки достиг желаемого — открыл какую-то маленькую дверь и очутился на темной, узкой лестнице, заваленной разным хламом, изломанными рамами, лохмотьями холста. Вот он — путь к чудесам!

Пробираясь среди этих обломков, я вдруг очутился под сеной, среди дьявольской путаницы веревок, брусьев, машин. Все это двигалось, колебалось, скрипело. В этой путанице шмыгали люди с молотками и топорами в руках, покрывая друг на друга. Пробираясь среди них, как мышь, я вылез на сцену, за кулисы и очутился во сне на яву — в компании краснокожих, испанцев, плотников и взъерошенных людей с тетрадиками в руках. Хотя индейцы и испанцы разговаривали, как плотники, тоже по-русски, но это не лишало их обаяния. Я разглядывал крашенные рожи и яркие костюмы с величайшим восторгом. Тут же, среди них, толкались настоящие пожарные в медных шлемах, а над головой моей на колосниках упражнялись в ловкости какие-то люди, напоминавшие балаганного Якова Мамонова. Все это произвело на меня чарующее впечатление, незабываемое во веки веков!

А вскоре после этого я уже участвовал в спектакле статистом. Меня одели в темный, гладкий костюм и намазали мне лицо жже-

ной пробкой, обещав дать пятачок за это посрамление личности. Я подчинился окрашиванию не только безбоязненно, но и с великим наслаждением, яростно кричал «ура» в честь Васко де Гама и вообще чувствовал себя превосходно. Но каково было мое смущение, когда я убедился, что пробку с лица не так-то легко смыть. Идя домой, я тер лоб и щеки снегом, истратил его целый сугроб и все-таки явился с копченой физиономией негра. Родители очень серьезно предложили мне объяснить, что это значит? Я объявил, но их не удовлетворило это, и отец жестоко выпорол меня, приговаривая:
— В дворники иди, скважина, в дворники!

— Почему именно в дворники? — не раз спрашивал я себя.

Из артистов того времени наиболее памятен мне бас Ильяшевич в роли Мефистофеля. Я слишком много слышал нехорошего о чорте. Он для меня был существом полуреальным, силою, жившей среди людей, во вражде с ними, злою волей, которая насмешливо путала и без того трудную, запутанную жизнь. Ильяшевич придавал в моих глазах особенную жуткую убедительность чорту и всем деяниям его. Он был для меня одинаково страшен и как-то непонятно понятен и на сцене, когда он метался по ней красный, как огонь, распевая насмешливо и громогласно о том, что «люди гибнут за металл», и за кулисами, когда он говорил обыкновенные слова простым человеческим голосом. Меня до дрожи пугали его глаза, метавшие огненно-красные искры, и я считал этот страшный блеск природным свойством глаз артиста до поры, пока не убедился, что это просто — фольга, наклеенная на его веки.

Однажды, когда я проходил мимо уборной Ильяшевича, он сказал мне:
— Мальчик, на, возьми двугривенный и купи мне винограду!

Я стремительно бросился вон из театра на площадь, где татары торговали фруктами с лотков, купил винограду. Ильяшевич отщипнул мне за услугу маленькую ветку, ягод пять. Чувствуя себя на вершине блаженства, я решил отнести ягоды матери. Весь спектакль я таскал их с собою, боясь раздавить, но по дороге домой любопытство ребенка, который никогда не ел винограда, победило любовь к матери, и я сам съел эти ягоды.

9 ДЕК 1956

Сталинское Письмо Киев